

Умберто Эко

Когда на сцену приходит Другой

Глубокоуважаемый Господин Кардинал, Ваше письмо выводит меня из сильного затруднения, но ставит в новое затруднение, тоже сильное. Пока что именно я (по неволе) выступал зачинщиком в беседе, а тот, кто начинает, неизбежно задает вопросы и ждет, пока собеседник ответит. Отсюда первая неловкость, быть в положении допрашивающего. В то же время я высоко ценю решительность и смирение, с которыми Вы трижды опровергаете теорию, по которой иезуиты отвечают на вопросы только встречными вопросами.

Второе же мое затруднение связано, напротив, именно с необходимостью ответить на вопрос, исходящий от Вас. Мой ответ был бы показателен, получи я в свое время светское воспитание. Я же испытывал сильнейшее влияние католицизма вплоть до возраста (обозначу момент перелома) двадцати двух лет. Внерелигиозное мировоззрение, таким образом, было мною не пассивно усвоено, а выстрадано в процессе длительного и медленного преобразования, и до сей поры я не могу знать, насколько мои моральные взгляды определяются отпечатком той религиозности, которая была мне привита в начале жизни. В прожитые впоследствии годы мне приходилось присутствовать (в одном зарубежном католическом университете, куда приглашают, в частности, и профессоров далеких от религии, ожидая от них не более чем формально-почтительного отношения к религиозным

академическим ритуалам) при том, как мои коллеги подходят к таинству причастия без веры в Присущего, и разумеется, без предшествующей исповеди и отпущения грехов. С содроганием, невзирая на многолетнюю внерегигиозность, ощущал я ужас перед этим зрелищем святотатства.

Тем не менее полагаю, что способен определить, на каких основаниях зиждется сегодня моя "внерегигиозная религиозность", — ибо я твердо убежден, что религиозность существует в разных формах, и следовательно, ощущение сакральности, тяга к "главным вопросам" и ожидание ответа на них, чувство единения с чем-то превосходящим человека свойственны и тем, кто не верует в личное и всерасполагающее божество. Но это, как явствует из Вашего письма, известно и Вам. Вы спрашиваете вот о чем: что есть обязывающего, вовлекающего и неотразимого в их формах этики?

Хочется начать издалека. Некоторые этические проблемы стали для меня прозрачнее после того, как я продумал некоторые проблемы семантики — только не беспокойтесь из-за того, что говорят, будто выражаемся мы сложно; вероятно, те, кто говорит это, приучены думать чересчур просто по вине средств массовой информации с их "откровениями", по определению предсказуемыми. Пусть же привыкают мыслить более сложно, ибо не просто ни тайное ни явное.

Суть лингвистической задачи сводилась к следующему: существуют ли "семантические универсалии", то есть элементарные понятия, общие для всего человеческого рода и находящие выражение на любом языке. Проблема эта не так уж легкоразрешима, если учесть, что во многих культурах отсутствуют понятия, кажущиеся

нам очевидными: скажем, понятие субстанции, наделенной качествами (например, в выражении "яблоко — красное"), или понятие идентичности ($a = a$). Однако в результате раздумий я заключил, что безусловно имеются понятия общие для всех культур и что все они относятся к положению нашего тела в пространстве.

Мы прямоходячие животные, поэтому нам затруднительно долго пребывать вниз головой и поэтому у всех нас общее представление о верхе и о низе, причем первое, как правило, предпочитается второму. Точно так же всем людям свойственно понятие о правом и левом, о покое или ходьбе, о стоянии или лежании, о ползании и прыгании, о бодрствовании и сне. Поскольку мы снабжены конечностями, всем нам известно, что такое ударять о прочный материал, вторгаться в мягкую или в жидкую среду, крошить, барабанить, колотить, пинать и даже, наверное, плясать. Этот список можно продолжать долго, в него войдут понятия, связанные с видением, слышанием, едой и питьем, заглатыванием и извержением. И безусловно, любому человеку присущи такие представления, как познание, память, желание, страх, грусть или облегчение, радость или печаль, а также представление о том, какими звуками отображаются все эти чувства. Далее (и тут мы уже вступаем в область права), всем знакомы универсальные концепции принуждения: всем нам нежелательно, когда препятствуют в процессах речи, зрения, слуха, сна, заглатывания либо извержения, не дают идти куда хочется; мы страдаем, если нас связывают или принуждают к изоляции, если нас избивают, ранят или убивают, подвергают пыткам физическим и психологическим, которые ограничивают или уничтожают способность соображать.

Учтите, что пока я выводил на сцену только некоего звероподобного и одинокого Адама, не ведающего, что есть сексуальное единение, радость диалога, любовь к детям, горе из-за утраты любимого человека; но даже и на этом этапе нам (если не ему/ей) эта семантика дает основания для этики; мы в первую очередь обязаны уважать права телесности другого существа, и, в частности, право говорить и право мыслить. Если бы все нам подобные уважали эти "телесные права", история не знала бы таких явлений, как избиение младенцев, вскармливание христиан львам, Варфоломеевская ночь, сожжение еретиков, концлагеря, цензура, работа детей в шахте, массовые изнасилования в Боснии.

Но как, благодаря чему, даже обзаведясь инстинктивным набором универсальных представлений, это звероподобное выведенное мною создание, сотканное из изумления и свирепости, сумеет дотумкать до идеи, что оно желает делать что-то и не желает, чтобы с ним что-то делали иные, и уж тем более, что оно не должно делать другим то, чего не хочет, чтобы делали ему? Сумеет, благодаря тому, что, слава Богу, Эдем стремительно заселяется. Этический подход начинается, когда на сцену приходит Другой. Любой закон, как моральный, так и юридический, всегда регулирует межличностные отношения, включая отношения с тем Другим, кто насаждает этот Закон.

Вы тоже приписываете добродетельному неверующему представление о том, что Другой присутствует внутри нас. Но я имею в виду не расплывчатые сантименты, а твердый фундамент бытия. Как свидетельствуют самые внерелигиозные из гуманитарных наук, Другой, взгляд Другого определяет и формирует нас. Мы (как не в состоянии существовать без питания и без сна) неспособ-

ны осознать, кто мы такие, без взгляда и ответа Других. Даже тот, кто убивает, насилует, крадет, изуверствует, — занимается этим в исключительные минуты, а в остальное время жизни выпрашивает у себе подобных одобрение, любовь, уважение, похвалу. И даже от тех, кого унижает, он хочет получить признание — в форме страха или подчинения. При отсутствии признания со стороны других новорожденный, брошенный в джунглях, не очеловечивается (если только, подобно Тарзану, не начнет искать себе Другого, пусть даже в лице обезьяны). Можно умереть или ополоуметь, живя в обществе, в котором все и каждый систематически нас не замечают и ведут себя так, будто нас на свете нету.

Почему же тогда существуют (или существовали) культуры, санкционирующие массовое убийство, каннибализм, унижение тела Другого? Просто по той причине, что в них круг Других сужен до пределов племени (или этноса) и "варвары" не воспринимаются как человеческие существа. Но и христианнейшие крестоносцы тоже не относились к неверным как к ближним, которых надо сердечно возлюбить. Дело в том, что признание роли других, необходимость уважать те же их потребности, которые мы считаем неукоснительными для себя, — результат тысячелетнего развития. Христианская заповедь любви тоже была провозглашена и со скрипом воспринята только тогда, когда времена созрели.

Но Вы спрашиваете так: хватает ли мне этого представления о чужой самооценности, чтобы обрести абсолютную опору, несокрушимый цоколь этического поведения? Достаточно было бы, если бы я ответил: но ведь и то, что Вы зовете "абсолютной опорой", не удержало многих верующих от прегрешений, при полном понимании, что они грешат. На этом можно было бы ответ и

кончить; зло соблазнительно и для тех, кто обладает обоснованным и откровенным представлением о добре. Однако добавлю еще два случая из жизни, которые послужили мне к длительному размышлению.

Во-первых, мне вспоминается разговор с одним писателем, который считал себя католиком, пусть даже *suī generis*^{1}, имя его я не привожу, так как цитирую частную беседу, а я по натуре не сикофант. Дело было в папство Иоанна XXIII; мой пожилой друг, бурно превознося добродетели понтифика, выразился так (с явной установкой на парадокс): "Папа Иоанн, конечно, атеист. Только неверующий в Бога может до такой степени любить себе подобных!" Как любые парадоксы, этот тоже содержал в себе кроху истины; не обсуждая атеистов (их психологическая картина для меня непонятна, с кантианской платформы я не представляю себе, как можно не верить в Бога и утверждать, что его существование не доказывается, и в то же время верить в не-существование Бога и утверждать, что оно-то доказуемо), я полагаю, что личности, никогда не переживавшие опыт трансценденции либо утратившие эту способность, могут придавать смысл своей жизни и своей смерти, могут успокаиваться одной любовью к другим и стремлением обеспечить для этих других жизнеподобную жизнь — в частности, и после того, как их самих уже не станет. Есть, разумеется, на свете и такие, кто не верует и все равно не заботится о придании смысла собственной смерти. Но есть и те, кто говорит, что верует, и при этом готов вырезать сердце у живого ребенка, только бы самому не умереть. О силе этики судят по поведению святых, а не тех неразумцев, *cuīus deus venter est*^{2}.

Перехожу ко второму анекдоту. Я был тогда шестнадцатилетним членом организации Молодых католиков и ввязался в словесную дуэль с более старшим знакомым, известным как "коммунист" (в значении, которое имел этот термин в кошмарные пятидесятые годы). Он меня раззадорил, и я выступил с решительным вопросом: какой смысл он, не веруя, находит в неизбежности смерти? Он ответил: "Я оставлю указание похоронить меня по гражданскому обряду. Я уже не смогу действовать, но покажу пример другим". Думаю, что и Вы тоже восхититесь этой глубочайшей верой в преемственность бытия и абсолютным чувством долга, одушевляющим этот ответ. Это то самое чувство, которое побуждало многих неверующих принимать гибель под пытками, лишь бы не предать товарищей, или заразиться чумой, лишь бы лечить зачумленных. Это же — то единственное чувство, которое побуждает философа философствовать, писателя писать: оставить послание в бутылке, чтобы то, во что мы верили или что казалось нам прекрасным, показалось бы достойным веры или любования и тем, кто придет после нас.

Достаточно ли крепко это чувство, чтобы выкристаллизовать не менее кристальную и негибаемую, столь же твердокаменно-неуязвимую этику, какая имеется у тех, кто верует в мораль откровения, в посмертную жизнь души, в загробные премии и штрафы? Я постарался обосновать принципы внерелигиозной этики на чисто природном явлении (а для Вас это явление в качестве составляющей части природы есть детище Божественного промысла), какова наша телесность, и на убеждении, что инстинктивно всякий предполагает, что его душа (или нечто, выполняющее ее функцию) проявляется только благодаря соседству с окружающими. Из этого вытекает,

что то, что я определил как "внерелигиозная этика", по сути — этичность природы, а от нее не станет отрекаться даже и верующий человек. Природный инстинкт, дозревший до степени самоосознания, — разве это не опора, не удовлетворительная гарантия? Конечно, возможно возражение: достаточно ли этот инстинкт побуждает человека к добродетельности, "все равно же, — может сказать неверующий, — если я тайно содею зло, никто не догадается". Но учтите, пожалуйста, что неверующие, думая, что с Небес за ними никто не наблюдает, именно потому и убеждены, что никто с тех же Небес и не извинит их за безобразия. Если неверующий понимает, что сотворил зло, его одиночество беспредельно, его смерть безнадежна. Скорее всего, он постарается больше, чем верующий, искупить черноту содеянного публичным покаянием; он попросит помилования у окружающих. Это неверующий знает заранее, это он чувствует всеми фибрами души и понимает, что должен поэтому априори быть милостив к остальным. Не будь так, откуда бралось бы угрызение — чувство, столь свойственное неверующим?

Я не согласен с жестким противопоставлением тех, кто верует в потустороннего Бога, — тем, кто не верует ни в какое надличностное начало. Будем помнить, что именно "Этика" стоит в заглавии великого произведения Спинозы, которое начинается с определения Бога как причины себя самого. Однако это спинозовское божество, как мы знаем, не трансцендентно и не лично; и тем не менее из представления о великой и единой космической субстанции, в которую в один прекрасный день каждый из нас будет вынужден возвратиться, родится представление о терпимости и благожелательности, родится

потому, что в равновесии и в гармоничности этой единой стихии мы все заинтересованы одинаково.

Мы все заинтересованы, поскольку подспудно считаем, что не могла эта субстанция никак не обогатиться и никак не переформироваться под воздействием того, что мы все совокупно наработали на протяжении тысячелетий человеческого рода. Поэтому я рискнул бы сказать (но это не метафизическая гипотеза, а только робкая поправка той надежде, которая не покидает человека никогда): в подобной перспективе брезжит идея чего-то вроде жизни после смерти. В последнее время стало известно, что в электронике цепочки сообщений способны пересылаться с одного физического носителя на другой, не утрачивая невоспроизводимых параметров, и похоже даже, что в то мгновение, когда, покинув один физический носитель, они еще не успели запечатлеться на втором, они существуют в виде чистого нематериального алгоритма.

Как знать, может смерть равна не имплозии, не направленному внутрь взрыву, как принято считать, а взрыву, направленному вовне, эксплозии, и не исключен отпечаток в каком-то там непостижимо отдаленном водвороте Вселенной нашего персонального софтвера (того, что некоторые именуют "душой"), того, что мы сформировали в течение нашей жизни? Там отпечатываются и наши воспоминания, и наши угрызения, и, следовательно, неизбывное страдание или же, наоборот, — чувство покоя благодаря исполненному долгу и благодаря любви.

Но Вы говорите, что вне примера Христа и слова Христова любая этика лишается самого непреложного, убедительного и мощного глубинного оправдания. Но зачем Вы отнимаете у людей внерелигиозных право соот-

носиться с образом Христа-простителя? Попробуйте, Господин Кардинал, в интересах диспута и ради того результата, который Вам интересен, допустить хотя бы на одну секунду гипотезу, что Господа нет; что человек явился на землю по ошибке нелепой случайности, и предан своей смертной судьбе, и мало того — приговорен осознавать свое положение, и по этой причине он — жалчайшая среди тварей (простите уж мне леопардиевскую интонацию). Этот человек, ища, откуда почерпнуть ему смелость в ожидании смерти, неизбежно делается тварью религиозной и попытается сконструировать повествования, содержащие объяснения и модели, создать какие-нибудь образы-примеры. И среди многих примеров, которые ему удастся измыслить, в ряду примеров блистательных, кошмарных, трогательно-утешительных — в некий миг полноты времен этот человек обретет религиозную, моральную и поэтическую силу создать фигуру Христа, то есть образ всеобщей любви, прощения врагам, историю жизни, обреченной холокосту во имя спасения остальных... Будь я инопланетянин, занесенный на Землю из далеких галактик, и окажись я пред лицом популяции, способной породить подобную модель, я преклонился бы, восхищенный толикой теогонической гениальности, и почел бы эту популяцию, мизерную и нечестивую, сотворившую столь много скверн, — все искупившей, лишь тем, что она оказалась способна желать и веровать, что вымышленный ею образец — истинен.

Отбросьте эту гипотезу, предоставьте ее другим; но согласитесь, что если бы Христос был не более чем героем возвышенной легенды, сам тот факт, что подобная легенда могла быть замыслена и возлюблена бесперыми двуногими, знающими лишь, что они ничего не знают, — это было бы не меньшее чудо (не менее чудесная тайна),

нежели тайна воплощения сына реального Бога. Эта природная земная тайна способна вечно волновать и облагораживать сердца тех, кто не верует.

Поэтому я думаю, что основные принципы природной этики (при одушевляющей ее глубинной религиозности) совпадают с принципами этики, основанной на вере в трансцендентное. Невозможно не признать, что природные этические принципы запечатлелись в нашем сердце на основании программы спасения. Если останутся (конечно же, они останутся) и у той и у этой этики взаимно неналожимые маргинальные области, — то же самое происходит и при соприкосновении между разными религиями. Самое главное, чтобы в религиозных разногласиях одерживали верх любовь и благоразумие.

Комментарии

1

В своем роде (лат.).

2

"Чей Бог — утроба" (лат.).